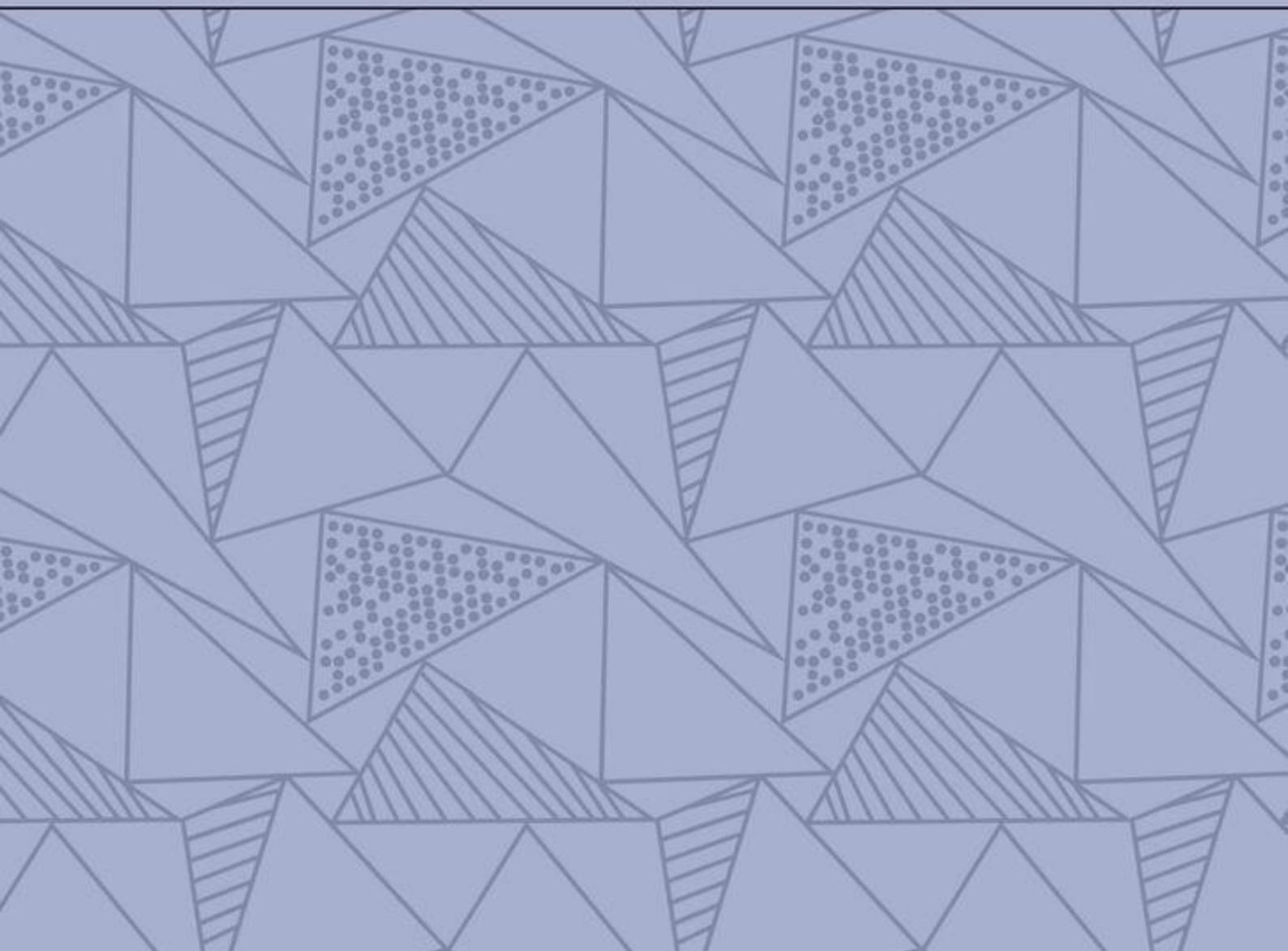


18+ ~~Е~~тефан Жеромский

Собачий долг

Рассказы



Стефан Жеромский

Собачий долг. Рассказы

«Издательские решения»

Жеромский С.

Собачий долг. Рассказы / С. Жеромский — «Издательские решения»,

В книгу вошли рассказы известного польского классика 19 века Стефана Жеромского. В них повествуется о непростой жизни людей труда, о том, как каждый по-своему понимает слово «честь», о предназначении человека и верности своим идеалам.

Содержание

Ананке	6
Доктор Пётр	10
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Собачий долг Рассказы

Стефан Жеромский

Переводчик Константин Эдуардович Щая-Зубров

© Стефан Жеромский, 2026

© Константин Эдуардович Щая-Зубров, перевод, 2026

ISBN 978-5-0070-7533-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Ананке

Этой весной я был влюблён в панну Софию так запальчиво, что даже изнемогал с горячки. Жаркие июньские дни были для меня огромными мирами беспросветной грусти, бесконечного ожидания и меланхолии, раздирающей душу как едкая кислота. Я жил в таком уголке Н-ской губернии, которого мало того, что не было ни на одной из подробных карт, но и выехать из которого было уже некуда, так как дальше шли неисследованные дюны летучего песка, а также нивы аира, аира и аира без конца, простирающиеся, вероятно, до самого побережья Балтийского моря. Три раза в неделю приезжала до столичного местечка нашей окрестности почтовая «беда», привозившая мне письма от панны Софии, три раза ходил за ними быстроногий посланец — в остальном я существовал только как ходячее, тоской иссушенное нечто... «Беда» прибывает к порогу почтовой станции, по преодолении четырёхверстной тряски, в одиннадцать часов; посланец всегда уже стоял к этому времени на пороге и подпирал спиной дверную раму; при этом, однако, прежде чем вернуться домой, заглядывал во все придорожные корчмы, и появлялся у меня только в два, а то аж и в три часа пополудни.

Именно этот промежуток времени более всего меня ослаблял. Прохаживаясь от окна до окна, я предавался различным умственным упражнениям: выискивал в сознании и выделял отдельно разнообразные чудные названия, такие как: «Чукизака», «Титикака», «Давалагхири», перечислял по памяти такие, собственно, «аористы», незнание с которыми добавляло часу в моём ожидании, множил часы минутами, а минуты секундами, иногда даже в тайне перед самим собой передвигал вперёд большую стрелку часов...

Собственно, во время одного из таких ожиданий на прибытие «быстроногого» мне пришла в голову более-менее гениальная мысль: решил, во избежание проволочек, самолично прибывать на почту. Тогда стал ездить верхом — «тихой, ровной, грустной трусцой», мечтая с прикрытыми веками о сладких выражениях «сивоокой», которые на миг облегчат досаждающую невралгию души, постоянно и неотвратимо увлекаемой из самых глубин к головокружительным мирам счастья.

Останавливался прямо перед почтой обычно в десять часов, входил вовнутрь, кланялся пану Игнацию и ждал. Пан Игнаций был единственным сановником в своей канцелярии. Это был ещё молодой человек, однако неслыханно и преждевременно изношенный. Он всегда сидел за бюро в сюртуке, напоминающем тужурку времён венгерской кампании, запятым в шестистах местах, с необычайно широким, измятым низом, облепленным по краю толстым слоем засохшей грязи, и прорезиненном воротничке — перекладывал письма, тискал их печатью и писал, моргая красными веками.

Мягкие бледно-жёлтые волосы на его голове уже значительно поредели — и точно не от множества мыслей, даже не как признак, что своё «пожил», а так просто — от беды — взяли и вылезли. Кончик носа в форме пятки и в цвете редзины¹ прошовской² чуточку покраснел, и вовсе не от «шпагатовки»³, а может просто от «всхлипывания» тайком, от слёз... Чувствительным был пан Игнаций, экзальтированным как гувернантка.

Почтовую канцелярию делила на две половины не доходящая до потолка перегородка, за которой помещалось собственное имение «начальника». Из-за перегородки всегда долетал множественный детский плач, дудение, посвистывание, топот, отзвуки потасовки, писк, шлём-

¹ Редзина — вид богатой гумусом почвы, образованной на известняковых породах и содержащей большое количество мелких каменных включений.

² Прошов (Прошув) — деревня в Великопольском воеводстве.

³ Самогон.

панье, временами даже такие звуки и запахи, при описании которых вздрагивает перо. Пан Игнаций был отцом девяти деток.

— Девять номеров, проше милостивого пана, как маку — хе, хе, хе... — говаривал, бывало, представляя мне то Стася, то Яся, Ваця, Казю, Маню, Йозю и т. д.

Не раз, когда я приезжал слишком рано и не заставал на месте начальника, уехавшего на рынок покупать масло, молоко, картофель, кашу и т.д., в узкой дверке перегородки вставала «пани начальника», исполняла реверанс и силилась развлечь разговором.

Достаточно закрыть глаза, чтобы с удивительной выразительностью вспомнить эту жертву единомужия.

Не думаю, чтобы она когда-либо снимала или меняла лиф, поблёскивающий затвердевшими пятнами от пролитых на него в далёком прошлом жидкостей различного химического состава, или залатанную перелатанную юбку. Имела от роду не больше тридцати лет и, очевидно, была когда-то очень красивой — теперь же, однако, это был скелет, настолько высохший и зачахший, что представлял собой существо совершенно раздавленное. Её острые плечи, выступающие ключицы, обвисшие груди, порезанные руки, жёлтое лицо с грустными, будто к плачу загнутыми вниз уголками рта, напоминали, непонятно отчего, жеребёнка, на первом году жизни впряжённого в плуг. Не знаю, расчёсывалась ли она когда-либо или мылась — хвостик свёрнутых волос всегда одинаково торчал на темени, но как же часто, должно быть, её глаза проливали горькие слёзы! В этих глазах было что-то, что досадно разило, чуть ли не болело, какая-то непреходящая тревога, что-то, что было наполовину слезой, наполовину оцепенением.

И в завершении всех бед, эта необычно красивая дама опять находилась в положении, какого так усердно добиваются французские социологи и статистики от прекрасной половины своей родной французской отчизны.

Мышление пани Игнацовой не выходило за порог её жилища: она не была способна говорить о чём-либо, что бы не касалось непосредственно её детей. У Яся была оспа этой зимой, Зузя переболела тифом, Вацю скарлатиной, тот с вылезающими из дыр коленками в незабудках — крупом, у той малютки болен желудок, воспаление лёгких, лихорадка, кашель, малярия, какие-то «жар-птицы», английские болезни, настойки, рвотные камни, масла, порошки, припарки, банки... — Боже правый!

В узкой, влажной и похожей на кутузку комнате везде лежали большие и малые сенники, на брутально ободранной софе, на сдвинутых сундуках и стульчиках — одеяла с вырванной ватой, подушки и подушечки, висела и лежала детская одежда самых замысловатых фасонов, сохло на верёвке мокрое бельё и господствовал больнично-семейный запах домашнего очага.

Иногда я заходил туда, садился на сундук и слушал рассказы пани Игнацовой, по-своему считая минуты и секунды. Рассказывала мне, что самый старший, девятилетний Стась был очень хорошо подготовлен местным учителем к экзамену, что наверняка сдаст в первый класс, что даже Барух Квят после долгих переговоров согласился переделать уже перекрашенный в синий цвет старый сюртук на мундир, что уже один учтивый мещанин, столяр, делает бесплатно Стасю на выход крашеную кровать — вот только... пансион...

Как же страшно звучало в её устах это слово, как болезненно тускли эти стеклянные, тупо мыслящие глаза!..

Данный Стась ходил среди череды младшего семейства в своих фантастически изогнутых башмаках и куртке с обтрёпанными локтями, непрерывно бормотал что-то себе под нос, держа перед глазами какую-то «грамматику», а для развлечения и скрытно от матери давал то одному, то другому «быка» в ухо или вставал и безпардонным образом ковырялся в носу.

— Стась, учись! Стась, учись! Стась, учись! — машинально повторяла мать, заслышав, что бормотание затихло.

Хорошо помню этот голос, острый, крикливый, являвшийся выражением бедной, исчезающей надежды...

Я очень сильно удивился, когда однажды вошёл в помещение и не услышал за перегородкой ни одного голоса. Пан Игнаций сидел за столиком с беспомощно лежащей на руках головой. Он не сразу услышал моё приветствие, а когда наконец поднял голову и обернулся ко мне через плечо, я понял, что с ним стряслось какое-то большое несчастье.

— Пανε, что с паном случилось? — говорил, наклоняясь над ним.

— А ничего... — ответил он небрежно.

— Где же жена?

— Да чёрт её знает, где... Убежала.

— Как это убежала?

— Ну убежала и баста... Оставь меня, пан, в покое.

— С хахалем убежала?

— Ни с каким не с хахалем.

— А дети? Где дети?

После этого вопроса он лениво поднялся, подошёл к окну и стоял там какое-то время. Его плечи судорожно двигались кверху, будто потягивался. Потом повернулся ко мне, посмотрел забитым взглядом, как смотрит затравленный лис с подстреленными ногами, когда его настигают гончие — приблизился и начал говорить тихо, соскребая ногтем со стола застывшую каплю стеарина. — Видит пан, я...

И умолк, глупо усмехнувшись. Я заглянул ему в глаза, в самые белки...

— А!.. — прошептал я, поняв...

Мы долго стояли рядом, сохраняя молчание. Несколько раз он взглядывал на меня со страшной грустью, с невыразимой завистью, какую должен чувствовать невинно осуждённый на смерть человек, когда идёт посреди толпы, которая его ненавидит, и ни на одном лице не находит сочувствия. Я видел, что он желает смерти, что в его мозгу нет ни одной мысли, а если и оперируют какие, то имеют вид горсти толчёного стекла.

— Хлопец должен был идти в школу — он начал говорить охриплым и сдавленным голосом — я не мог... не отважился на кражу; никого вокруг пальца не обвёл, я порядочный человек... А в конце концов, кого я должен был опасаться? Кто смотрел на меня? На мою нужду?..

Неожиданно он начал говорить быстро, всё громче, топчась на одном месте:

— Я приехал на рассвете, позвал жену и говорю ей сразу — так и так... Тут стояла, где пан сейчас, так, говорю пану, ни одного, сука, звука не издала, только меня за плечо рукой потрогала, посмотрела, покивала головой и пошла в комнату. Я заглянул через щель: вижу — стоит у окна неподвижно, стонет тихонько, по-своему, слеза за слезой пробивается, а чтобы слово — нет! Сразу понял, что дело плохо. Присел тут на сундучке и досиделся до белого дня.

Утром вылетел в свет, так как меня тут аж душить что-то стало от этой тишины; шёл по дороге, должно быть, с две мили. Роса была, холодно. Прилёг возле леса: лежу, а в голове будто кузнец бьёт молотом по наковальне. И не раз меня так сжимало, словно во мне какой человек кричал. Пролежал там четыре, может, пять часов; потом пришёл сюда, так как рабочее время приближалось — слышу: в станции тихо. Заглянул за дверь и вздрогнул — никого нет. Всё хозяйину оставила, ни одной тряпки не взяла, собрала детей и пошла.

— Куда же?

— Выбежал без шапки, лечу, людей по дороге спрашиваю. — По шоссе, говорят, видели, как шла. Пролетаю с полмили: нету! Тогда случайно посмотрел в сторону — идут просёлком, целый табор. Казю несёт на плечах, наименьшее на руках, а остальных гонит, гонит...

Кричать я не мог, ибо у меня в горле перехватило, совсем лишился сил. Как меня увидела, взяла с дороги камень, словно буханку хлеба и пошла ко мне. Том у её ног тащился, баш-

маки целовал, поперёк дороги ложился — напрасно! С ней не справишься: ножами её полосуй — нет и нет! Как дети начали плакать...

Вдруг он отпихнул меня, вскочил в двери до комнаты и рухнул там на кровать. Когда я вошёл за ним, увидел, как он вбил голову в подушку и принялся, как пёс, рвать её зубами. Раздался плач дикий, страшный, какой-то звериный...

Я ушёл; обнаружив письмо панны Софии, забрал его и, не помню, как очутился в седле. Не смел и не мог разорвать конверт. А всё-таки, как я неизмеримо чувствовал себя счастливым той частичкой фарисея, что находится в сердце. Только ни шелест ветра, пока конь летел галопом, ни письмо, которое я прижимал к сердцу, не могли прогнать с моих глаз образ той бедной женщины, идущей в безмерный свет...

Доктор Пётр

В комнате пана Доминика Цедзыны темно и тихо, но, несмотря на это, старик не спит. Опершись спиной о подушки, полулёжа в кровати, погрузился в удивительные раздумья, ночной тишиной вознесённые до небывалых высот. А ночь тиха абсолютно. Лунный свет, пробив толстый слой инея, побелил, словно извёсткой, стёкла, неподвижно остановился на поверхности старой мебели, двух стен, части потолка и пола, будто скованный морозом, точно так же как освещал этой ночью гниющие на дне водоёмов заваленные льдом деревья. В щели за печью иногда отзывается сверчок, в углу комнаты глухо отсчитывают старые напольные часы, последний памятник былого великолепия. Пение сверчка и тупой стук маятника доставляют пану Доминику некоторое труднообъяснимое облегчение. Если бы не эти два милостивых звука, ему бы, наверное, разорвали сердце толчея и буря чувств, и лишило бы рассудка нашествие грустных мыслей. Когда из тёмных углов комнаты начинают показываться призраки страха, когда в сердце разгорается беспомощная печаль и слёзы жестокой боли жгут глаза, сверчок начинает шептать громче, будто бы выразительно, слог за слогом, проговаривая:

«И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня»⁴.

Эти удивительные фразы, совет или молитва, сокрытые в звуках ночного насекомого, являются единственной и последней точкой опоры для выбитых из привычной колеи мыслей одинокого человека.

Несколько раз зажигал свечи, полагая, что свет его успокоит. Напрасно. Как только гасла свечка, ему на глаза попадалось письмо от сына, которое напоминало, где находится и каков он — источник его мучений. Теперь его охватило желание ещё раз посмотреть прямо в глаза своему несчастью, поднялась из немоши духа смелость «печальных аж до смерти»: запустить зонд вглубь раны, ощупать её всю, воочию убедиться, что она неизлечима — ну, и гори оно всё синим пламенем!

Нацепил очки, расположил письмо за свечкой и медленно, вполголоса принялся читать: Мой дорогой отец!

Из всех моих золотых мечтаний дьявол скрутил и зажёл сигару. Когда-то я бахвалился своими математическими способностями, меня всего распирало от гордости, когда друзья шутили, что я, ещё в лоне матери, будучи шестимесячным эмбрионом, в ожидании своего появления на подол дифференциального исчисления, от скуки решал алгебраические задачи о гонцах. Теперь же я проклиная как те, якобы, способности, так и эти глупые исчисления. Мне бы пасти коров на лугу, а может даже и свиней...

Однако, что я вокруг да около! Мои приключения развивались следующим образом. Примерно с три недели назад вызывает меня профессор и даёт почитать письмо некоего Джона-тана Мундслея, химика, бывшего профессора одного из английских университетов. Этот господин, оставив кафедру, открыл частную лабораторию и просит нашего старого выделить ему самого способного среди ассистентов нашей политехники, и намерен поручить такому человеку руководство этой халупой. Обещает платить двести франков ежемесячно, предоставить жильё, любые материалы, какие запросит химическая душа, обогрев и другие удовольствия, ну и практически безграничную свободу в работе. Когда я прочитал это письмо, профессор забрал его у меня, аккуратно сложил, спрятал в ящик, скривился по своему обычаю, флегматично дал руку на прощание, сел за своё бюро и устал нос в бумаги. Я удивлённо смотрел на его лысый череп, а старый недотёпа буркнул:

⁴ Отрывок из Библии — Псалом 49:15.

— Туда я уже написал... Необходимо взять тёплые брюки и шерстяные носки. Известное дело, туманы... Город Халл расположен на берегу моря. Если у пана нет денег, могу дать в долг триста франков без процентов на три месяца. Да... Только на три месяца.

Мне стало ужасно неловко. Неужто мне суждено, взяв на себя звание способнейшего среди химиков, поехать в шерстяных носках до моря аж в сам город Халл? Почему кому-то другому не предоставилась такая честь и кому-то другому не выпал столь счастливый жребий. Ведь это случай! В мастерской Мундслея, без заботы о завтрашнем обеде и сегодняшних заплатках на ботинках, можно работать не только над открытием новенького, но и утверждать выковырянные в своих собственных мозгах гипотезы.

У этой химии есть свои заморочки... Как только человек влезет в подобное болото, а тем более унюхает дела неисследованные и крайне заманчивые, его сразу захватывает такая портняжная страсть нахождения новых «течений», что готов даже не вспоминать о шерстяных носках. А кроме того, мой Папуля, увидеть Англию, её настоящую великую промышленность, эти чудеса цивилизации, эти гигантские прыжки человеческого гения! Я собрался и вышел. Посидел на Стапфервеге, а оттуда, гонимый беспокойством, двинулся в город. Вместо того, чтобы позвать народ до Кропфа, где традиция строго-настрого запрещает обмывать всякие события, направился к озеру. Не помню, как очутился на дороге, ведущей в Вестминстер. Тёмный туман купался в бурных волнах: рыжие, потёртые, выщербленные склоны гор местами выныривали из него, словно фантастические острова; жалобно кричали чайки, скользя над самой водой.

Итак, думал, еду в край земноводных англичан, еду на море, на далёкое и незнакомое море... Напрасно так долго тешил себя надеждой, что поеду в другие страны, что после восьми лет увижу иной пейзаж. Напрасно в течение последних трёх лет выслал столько отличных рекомендательных писем в Лодзь, Згеж и тому подобные Пабяницы, прося о месте с оплатой в сорок, тридцать, ладно — на худой конец, чёрт побери! — в двадцать пять рублей за месяц работы. Зря возносил к небесам свои химические таланты, перечислял имеющиеся патенты, обещал отыскать новые способы печати на ситцах. Только скомпрометировал себя в собственных глазах и глазах святой науки. Там евреи и немцы всё открыли, заняли все места и подтапливают большую индустрию. Я размышлял о том, что англичане, мой Старичок, «mit Pompe und Parade» заберут к себе, что мы справим себе новую одежду (одних только сапог козловых с голенищами по две пары на каждого), наберём табаку, сахару, чаю, колбасы и бог весть чего ещё, что будем по вечерам как последние портные поигрывать в домино и светлой памяти Козиков вспоминать...

Козиков! Помнишь ли, отец, тот холм за нашим садом, поросший кривыми соснами и низкой колючей травой? Сам не знаю, отчего так люблю думать об этой дыре.

Помню как-то... После долгих и крепких морозов, после тяжёлой зимы настал первый по-настоящему тёплый, даже жаркий день. Это было в самом начале марта. Около полудня неожиданно обнажилась от снега вершина холма, вылезла из скорлупы и зачернела над горизонтом уродливым горбом. Я стоял тогда возле окна и проводил урок репетиторства с учеником — помнишь его, папа? Это был Кудлатый Кавица. Что-то меня кольнуло. Не помню, каким образом прекратил урок, выбежал во двор, подозвал фольваркных собак и «во весь опор» через пашню, через пастбище, без шапки!.. До сего дня храню в сердце те минуты, те чувства, будто это было вчера. По иглам, веткам, по коре сосновых стволов сплывали огромные грязные капли, тяжело капали на сугробы и дырявили их насквозь; каждый заостренный стебель, каждый пенёк, камень, каждое дерево, каждый предмет втягивал, глотал всеми порами солнечные лучи и становился в мгновение ока источником тепла. Вокруг деревьев, кустов, сухих стеблей трав, вокруг камней, колышков дрожали перед глазами огромные ямы и в них показывался светлый мягкий песок. Каждое его зёрнышко, насыщенное теплом, казалось, жарится и разгорается, распространяя на своих замёрзших товарищей радостный огонь. Зёрна песка испаряли снег снизу, деревья и кусты поливали его тёплыми каплями, канавы и

пашенные полосы, казалось, будто двигают сдавленные снежные хребты. С далёких полей шёл густой пар, словно тёплый дым, стоял и перемещался по равнине, дрожал и поблёскивал над холмом.

Стайка воробьёв согревалась и тревожно чирикала на ветках сухой вербы. Их распушенные, как у индюков, крылья сбивали с веток лёд и иней, клювы нетерпеливо клевали обвешанную сосульками труху. Мне тогда казалось, что вся стайка поёт одну удивительную и никогда не слышанную песню, проникающую до мозга костей. И потекли, наконец, первые внешние воды, буйные, внезапные, резкие, как слёзы неожиданного счастья. Сочились по бороздам, прокладывали себе глубокие русла в посиневших, вырезанных санями колеях, лились по верху снежного наста, тихо и радостно журча. В нашей речушке воды прибыло, появились шумные водовороты, обнажались берега, и по ним сплывала, словно нефть, жёлтая, редкая, размокшая глина. Стволы прибрежных берёз нырнули в реку и принялись сосать корнями эту живую воду...

Я впал в исступление: спускал ручейки, облегчал сброс водопадам, копал каналы, ставил запруды... Радовался всем сердцем, что окостеневшим стеблям тепло, что уже ни один воробей не замёрзнет, и первый раз в жизни протягивал детские руки к той великой неведомой...

Это место ещё там? Вопрос достойный головы и пера доктора Петра Цедзыны. — Разве неправда? Ах, да! Человек, которому отнимут раздробленную руку, постоянно чувствует боль в пустоте на всю длину руки. Часто я просыпаюсь после крепкого сна с этой непроходящей болью в пустоте. Вот придёт новая весна... Увижу её в туманах, задымленных фабричной сажой, и как здесь, так и там буду нести в своей душе глубоко вонзённые клыки кошмара... И так будет всегда, без конца...

Я забыл совсем, собственно, о чём хотел писать тебе, мой Старый, мой Дорогой Старый... Я один-одинёшенек на свете, и тебя рассматриваю только как вторую половину себя, как оторванную и бесконечно далеко увезённую половинку души. Не гневайся, что пишу вещи неприятные — пишу как бы к себе самому... Когда стоял на берегу озера, было мне очень плохо. Большие, прозрачные, светло-зелёные волны бежали из какого-то неизвестного места, скрытого в тумане, набрасывались на берег, разбивались об острые камни, и каждая, соскальзывая в глубину, будто вздыхала: «Ты как муравей, выросший в лесу, кого на центр пруда ветры занесут».

Пан Доминик со злостью отбросил письмо, и, подперев кулаками подбородок, сидел строго, как коршун. Теперь его уже больше не мучали фантастические, беспредметные роения, но выстраивались и логично сопоставлялись мысли, при этом не менее болезненные. Почему под конец жизнь приняла такой оборот? В чем кроется причина этих всех событий? Отчего единственный сын не слушает ни просьб, ни проклятий, ни убеждений, ни приказов, и вместо объяснений пишет сентиментальные и непонятные вещи? Почему не возвращается? Если бы только сюда появился, то по протекции, после небольшого обивания порогов, нашлось бы для него отличное место, панна с приданым... Почему?

Дело ясное. Человек не может жить и работать — отвечает себе пан Цедзына, — если кто-то не жил перед ним, и не работал для него. А кто же является этим «кто-то»? — Отец. Через само рождение отец ещё не даёт сыну жизнь — даёт только обетование жизни, воспитание начинает её, и только наследование её утверждает и наполняет. Здесь находится источник обязательности наследования в роде человеческом. Оно является узлом, соединяющим умирающие и нарождающиеся поколения, исходит из того, что является неотъемлемой телесной потребностью, создаёт и увековечивает семьи. Семья без наследования представляет собой случай нелепый, нездоровый, подкинутый человечеству Провидением в качестве мучения... Такое проклятие несём на себе в лице Петруса! Наследование до сих пор было отличительной чертой человечества; посредством него, вместе с плодами труда, отец оставляет сыну результат своих чувств, понятий, рассудительности, открытий и помыслов — словом, всего, что мог

получить многолетним опытом. Сын приступает к тому месту, где останавливается отец, и движется дальше по дороге богатства и смыслённости, и таким образом труд переходит из рук в руки, накапливается, развивается, опирается один на другого и формирует пьедестал, на котором вырастает всё выше... цивилизация. В поступательно растущем обществе, если кто-либо хоть раз потеряет нить, уже не способен ухватить её снова, и если отец был неприлежным в труде, то сын страдает за несовершенные им проступки, а несчастья передаются ему вместе с кровью. Наследование удерживает детей в пределах домашних порогов и успокаивает последнее, а потому может самое значительное и значимое старческое потрясение — страсть совместного проживания с потомками...

— Я это всё потерял — шепчет пан Доминик, сжимая виски — и потерял навсегда! Голос старости вызывает ко мне о духе и крови, а я словно тот ваятель, от которого требуют законченной в срок скульптуры, в то время как он, кроме идеального образа в своей душе, не имеет в руках даже горсти глины. Восемнадцатилетнего юношу отправил без гроша за границу, на вольные хлеба... что же тут удивительного, что вырос чужим моему воображению современным человеком? Чем же я могу его притянуть? Любовью, смертельной тоской?.. Что нас связывает? Фамилия разве что, к которой он относится, согласно новой моде, с легкомыслием. Он современный человек: сделает с собой, что захочет и как захочет.

В прошлые времена сын был в руке отца, слушал его и почитал, не имел права ни оставить (под угрозой сурового приговора наших людей), ни печалить, ибо над ним висел твёрдый и мощный, неписанный закон. Теперь он лежит развязанный, из него исчез наш шляхетский обычай. Наши сыновья отошли в свет... Ищут новой правды. Спешат по столбовой дороге, посреди зноя, уставшие, и кажется им, что на ближайшем холме по той дороге лежит не только сокровище, но и счастье духа. Нам приостанавливала бег родительская мудрость, показывая, что эта надежда не более чем пустое мечтание. Их же ничто не придерживает, потому и в душах их нет места «мягким волокнам» нежности. Слабых и никчемных имели отцов. Ах! Велика наша вина!.. но разве только наша?

Мы, члены широко распространённой шляхетской семьи, составляли особую общность, были ценным зерном, растущим на поте народа, как на навозе. Разве мы не творили прогресс, не пестовали цивилизацию, разве не развивали правильно наши мысли? Дух времени посеял нас в гмины, как кто-бы четверть отборной ржи посеял в поле убогой вики. Разбились мы на одиночек, выродились и полностью исчезли. И что с того, что я приспособился, пошёл на службу к первому встречному баловню судьбы, к сыну какого-то перекупщика, к выскочке, который при помощи различных протекций, подношений, покорного целования манжет дошёл до диплома инженера и возможности грести деньги с железнодорожных путей? Что с того, что тяжело вырывал с корнями свою гордость, как кости выламывают из суставов, что научился гнуть спину и работать как самый последний из моих бывших парубков? Что с того, что, подавив в себе отвращение, я уселся на карусель современных понятий? Не перестал быть собой и не превратился в мещанишку.

Во стократ печальнее, что не понимаю своего сына, никогда не стану его другом, никогда не удостоюсь его сочувствия, его, единственного на всём белом свете существе от моей крови. И ничего уже не произойдёт в этой сонной жизни, кроме одного события, достойного внимания, кроме смерти. Петрусь поедет в Англию. Это значит, что, когда я буду умирать, когда кто-нибудь милосердный известит его телеграммой, он, даже если очень поспешит, приедет только на следующий день после похорон. После моей жалкой смерти... Никогда уже больше не потрогаю руками его волос и не услышу его самого. Я уже забыл, как он разговаривает, никак не могу вспомнить звучание голоса. Постоянно в чём-то разговоре он отзывается, кружится вокруг моих ушей, и каждый раз пропадает. Никогда не окину взором его фигуры, его мужских, широких плеч. Он был ещё такой худощавый, мизерный в тот вечер, когда провожал

его, даже не предчувствуя, что навсегда. До конца, до последней минуты жизни буду вслушиваться, ожидать, как неразумный — напрасно.

В эту минуту старый шляхтич снова чувствует в себе леденящее веяние страха.

— Он совершенно обо мне забудет — шепчет побледневшими губами. — Ни разу обо мне не подумает... Да что там... не подумает! Он добровольно, сознательно разорвёт отношения, перестанет писать, закроется. Его разум заполонят какие-нибудь воображения. «Что такое отцовство?» — задаст себе вопрос какой-либо современный философ. Насобирает доказательств и покажет с неоспоримой очевидностью, что отцовство это иллюзия чувств, определённая моральная привычка, которую вследствие таких и этаких причин следовало бы из душ истребить. Может, даже... о, несчастье!.. был бы даже прав! При этом совсем не будет подлым или глупым, но всего лишь образованным. Никто на него за это не пожалуется, никто даже не обвинит. А по какому праву?

— Надо спастись — говорит старик, заламывая руки.

Холодный пот стекает у него со лба, сердце ударяет твёрдым, громким, медленным боем. При помощи силы духа, мощной и тонкой, некоей личности, собранной по крупицам из моральных глубин существа, пан Доминик старается исследовать свой разум, пробудить его, натренировать и заточить на борьбу с софизмами сына.

— Я тебя научу, шут гороховый, я тебе объясню, я докажу, что ты лжёшь — говорит глухим и твёрдым голосом.

Болезненное, напряжённое, бесплодное обострение умственной деятельности выдаёт ему предложения странные и жалкие. Старик хватается за них и отпускает, ищет другие, а то выслеживает самые бестолковые мысли сына, точно так же как гончая выслеживает следы косули во время снежной метели, когда их замечает вихрь.

— У химии свои заморочки... И поэтому летит на конец света. И что для него какой-то старый дед, у которого судьба по очереди забирала всё — вплоть до последней тряпки и последней иллюзии!

Всей силой отцовского сердца проклинает эту науку. Какая-то способность, то, чего нельзя ни уничтожить, ни ненавидеть, забрала у него сына, подобно смерти.

— Отдай мне его! — клянчит старик. — Одолжи хотя бы на один целый день. Больше не надо.

Где-то очень далеко, в снежных сугробах, раздаётся свист пролетающего поезда, внезапный, проникающий, как крик о помощи. Потом снова наступает мёртвая тишина. Блеск лунного светила медленно приближается к кровати старика, который, свернувшись в клубок, мечется, плачет в этом тёмном углу и бормочет свою монотонную, горестную жалобу.

Пан Теодор Бияковский (называемый Бияком) окончил Институт Путей Сообщения в тот самый период времени, когда неизбежные экономические условия пораскрывали бумажники, нашептывая: «Сгребай сюда, прекрасный монумент!...». Не только писательская тенденция напевала дифирамбы во славу инженера и освещала его фигуру бенгальскими огнями, но ещё, как дополнительное счастье, *мудрые деви*⁵, умеющие, как известно, ловко учуять дух времени, неожиданно зажгли свои лампы, раскрыли лебединые лона и, бодрствуя, ожидали стук выгодного жениха. Пан Теодор ещё лучше, нежели деви, почуял дух времени и решил соответственно жениться. Бывал тогда в доме богатого варшавского канатчика, очаровательная дочь которого бережно лелеяла в своей памяти несколько первых страниц из труда Бокля⁶.

Пан Теодор родился в Варшаве, вероятно, на Крахмальной улице, где его отец держал на углу скромный, бедный, но опрятный шинок. В отроческие годы малый Теось забавлялся с

⁵ Явная ироничная отсылка к Евангельской притче Иисуса Христа о разумных девах.

⁶ Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский историк, автор двухтомной «Истории цивилизации в Англии».

группой младших и старших родственников, скажем так, в местных канавах, выбивал стёкла соседским *старозаконным*⁷ и остался бы навсегда в состоянии варварства, если бы не одна счастливая случайность. А именно, владелица дома, в котором располагалось заведение «старого Бияка», дама сверхчувственная, на лице которой время оставило свои глубокие следы, получила одним прекрасным утром меткий выстрел из рогатки, натянутой рукой маленького сорванца. Камень застрял в её высокой причёске и принёс престарелой панне несколько дней плача и моральных страданий.

Велела позвать к себе Теосю, долго на него смотрела и, наконец, сказала:

— Иди, дитя, учиться будешь.

Хлопец оказался сверх ожидания способным, легко одолел подготовительный класс и, тайне даже от заливающего любые дела Бияка-старшего, сдал в гимназию. И там двигался с наградами из класса в класс, тихо и скромно. Писал опекушке открытки на именины, целовал колени и ручки, а после её смерти вынужден был, сиротка, много нацеловаться манжет, пока не поступил в Высшую Школу, где закончил математическое отделение и при различной помощи этих и тех добрался до Института.

Всё у него шло гладко. Не буду воспевать о всех его продвижениях, приключениях, попытках, изменениях в способах мышления и местах пребывания, будет достаточно сказать, что он построил много красивых мостов, больших вокзалов, проложил огромное количество путей и что, прежде чем минуло десять лет с момента окончания учёбы, наш монумент уже имел несколько десятков тысяч рублей, выгодно размещённых в надёжном месте. Занимать должности по эксплуатации не торопился, всегда старался водиться с важными рыбами и ассистировать при строительстве новых дорог. Деньги текли в его карманы широкой рекой, мелкая неоднократно оказываемая услуга, ловко вставленное льстивое словечко, умелая, внешне невинная операция, более того, удачная варшавская шуточка — по новой наполняли бумажник, временно опустошённый после очередной инженерской вакханалии. И это ещё не говорю о результатах глубоко и систематически продуманных планов действия...

...Посреди улыбок судьбы наш инженер, стоит признать, не позабыл об убогой семье с Крахмальной улицы. Вёл за собой целую когорту не только братьев, но также близких и далёких кузенов, из которых каждый по прошествии недели деятельности под наблюдением добродетеля хаживал при часах и тратился на модные гавелоки⁸. На южном побережье Крыма пан Теодор владел фешенебельной виллой, где царила его прелестно расцветшая супруга, бывшая читательница боклеев и миллов. Там было чудно: вдали волновалось море, вокруг расстился субтропический лес. Казалось, что пан Теодор до конца жизни в свободное время будет отчитывать то одну, то другую страницу Декамерона (потому что мудрые книги раздал на память невыспавшимся телеграфистам), как вдруг неожиданно явился демон беспокойства...

...Именно в это время в стране начались строиться железные дороги. — Пан Теодор был тут как тут и принял новый вызов.

Сразу после получения права на начало работ к нему приплёлся совершенно разрушенный земский обыватель, Доминик Цедзына. Сначала он исполнял на строительстве железнодорожного полотна обязанности надзирателя, погонщика человеческого стада, позже как-то счастливо попал в поле зрения нашего предпринимателя и стал использоваться в других целях. Странно выглядел этот элегантный осанистый старик с лицом пана, всегда изысканно и чисто одетый, гладко причёсанный и тщательно выбритый, когда стоял в дверях перед небрежно развалившимся на стуле Бияковским. Инженер испытывал демократическое упоение, держа бывшего господинчика у порога и обращаясь к нему: «сейчас пойдёшь, мой пан Цедзына...» или

⁷ Евреи.

⁸ Гавелок — модный на рубеже XIX — XX вв. мужской плащ с пелериной, без рукавов; назван по имени английского генерала Генри Гавелока (1795—1857).

«столько раз уже говорил пану Цедзыне...», или «нужно шевелить мозгами, пан... как там тебя... пан Цедзына».

Лицо старого шляхтича никогда не выдавало даже следа гнева, тени обиды или видимости удивления. Иногда только по его сжатым губам проскакивала тоскливая, почти детская усмешка, иногда потухшие глаза ещё больше заходились мглой и притворялись ничего не видящими. При этом никогда пожирающее его унижение не выходило наружу в тоне или содержании речи.

«Это тоже честь, один из пунктов чести. — Думал. — Я и так пан, ты же и так хам».

У этого человека была только одна отрада и надежда. Как только наступал вечер, когда промокшие от пота работники бросали лопаты и, приняв пищу, валились в каменный сон, когда панове инженеры рассаживались для игры в винт, Цедзына шёл вдоль полотна к соседнему местечку.

Тогда его голова гордо вздымалась, глаза наполнялись блеском, губы шептали: «Петрусь... ох, Петрусь».

Он стучал в окно почтмейстера и любезнейшим, боязливым голосом спрашивал, нет ли письма на имя Доминика Цедзыны? В случае если получал ожидаемое письмо, то быстро с ним отходил, лаская конверт пальцами и прижимая его к губам. Потом в своей убогой комнатухе ставил у кровати свечку и принимался читать. Читал медленно, странным способом: не пробежал глазами сразу всё письмо, а выкрадывал из него одно, два предложения, несколько слов — и складывал письмо. Бывало, конец письма прочитывал только на третий день после получения. Когда ему досаждали, когда его обижали, когда чувствовал, что его грудную клетку что-то начинает давить, будто железным обручем, и кровь ударяет в голову, тогда трогал боковой карман сюртука, где носил пачку писем от сына, и успокаивался. В каждую минуту передышки, во время обеда или короткого перерыва в работе, доставал листочек и вдумывался в какое-либо обычное предложение. Тогда мягкая улыбка, словно луч солнца, проясняла его деревянное лицо и снимала с него застывшую озабоченность.

На отдалении версты от продвигающейся насыпи, относящейся к зоне ответственности пана Теодора, посреди полей торчала высокая гора, поросшая можжевельником и увенчанная серым зубастым хребтом известняковых скал. Гора относилась к фольварку Заплотье, а фольварк принадлежал некоему пану Юлиушу Полихновичу. Инженер обратил внимание на данную гору сразу после начала работ, исследовал скалы, нашёл в них богатое содержание карбоната кальция и небольшое количество чужих примесей, заметил, что склоны и осыпи указывают на богатые залежи отборной глины — так что спустя несколько дней по своём приезде, забрав с собой пана Цедзыну, поехал в фольварк к Полихновичу.

Спускался вечер, когда повозка приближалась к Заплотью. Фольварк располагался у самого подножия горы. Его окружал четырёхугольник высыхающих тополей. Здания находились в плачевном состоянии: превратившаяся в руины винокурня вытягивала к небу, словно кости скелета, лишённые своего покрытия стропила, крыши сараев прогибались до земли, тут и там валялись жерди разрушенных изгородей. Каменистая дорога со множеством вызывающих тревогу ям миновала некое подобие ворот и далее вела через двор. Огромная чёрная крыша господского дома съезжала со стен назад и одним своим концом практически касалась земли.

Когда экипаж наших предпринимателей остановился перед крыльцом, в двух окнах дома горел свет. В дверях показалась какая-то фигура.

— Это ты, Шулим? — громко спросил стоящий на пороге.

— Нет, это не Шулим — ответил Бияковский. — Барин дома?

— Да кто же там, чёрт возьми?

— Здешний барин дома?

— Барин?

— Можно с ним увидеться?

Особа исчезла, и практически одновременно в окнах погас свет. Наши путешественники поднялись на крыльцо, но обнаружили двери закрытыми. Бияковский постучал.

Никакого ответа.

— Странное дело! — заметил пан Доминик.

Инженер спустился с крыльца и заглянул за угол усадьбы в поисках другого выхода. Там должны были быть какие-нибудь двери, так как за домом происходила беготня, белые силуэты проникали в дом и выходили из него в сад, таща какие-то тяжёлые предметы, нечто в роде шкафов, зеркал, диванов, столов, картин.

— Необычный дом — сказал про себя крайне удивлённый буржуа. — Видно, данный гражданин выезжает, или что тут, чёрт побери, происходит?.. В такую то пору... пан Цедзына...

Пан Доминик меланхолично кивнул головой и тихо вздохнул.

Из крапивы и зарослей сирени, в конце концов, вылезла какая-то бабища, подошла к Бияковскому и бесцеремонно уставилась ему в глаза.

— И кто же вы такие? Откуда пожаловали?

— Мы с железной дороги, хотим поговорить со здешним паном — обратился к ней пан Цедзына. — У нас есть дело до пана. Хотим купить у него скалу... Слышишь? Есть тут где ваш пан? Можно его увидеть?

— Так вам пана нужно? — задумалась баба.

— Ясно же, что не тебя.

В этот момент из темноты вынырнула другая тень.

— Панове железнодорожники... ага... Прошу, пожалуйста... Марына, бегом лампу зажигать. Вели нести обратно... К вашим услугам... Полихнович.

Двери, ведущие с крыльца в сени снова открылись, и прибывших проводили в большое помещение с низким потолком. Там стояла разная мебель и лежали вещи в определённом распределении: комод был выдвинут на середину комнаты, на нём лежало несколько картин в грубых позолоченных рамах и зеркало, стол был забросан грудой ремней, кнутов, плёток, упряжи, охотничьих сумок и предметов для охоты; распахнутый сундук обнажил нутро, полное грязного белья и поношенной одежды. На кровати, покрытой истёртым одеялом, почивала огромная псина из семейства догов, а на выдавшей виде кушетке спала маленькая лохматая собачка. Хозяин усиленно пытался при помощи выкручивания фитиля добыть из закопчённой лампы пламя поярче. Это был молодой человек лет около тридцати, немного сутулый, с лицом увядшим и изжитым.

— Садитесь, панове — говорил, сбрасывая со стульев на пол перемешанные части мужского гардероба и пододвигая колченогие стулья гостям. — У меня тут немного по-холостяцки, и всё это из-за судебных исполнителей... Финтик!.. Вон, подлец!..

Лохматый пёсик нехотя поднял голову и, махая хвостом, переместился на пол.

— Проше пана — начал Бияковский — такое у нас имеется дело: ведь это пану принадлежит гора, вблизи которой мы прокладываем рельсы?

— Гора? «Свинский вред?» Ну, мне принадлежит... и что с того?

— Пан с неё никакого прибытка не имеет?

— Какой же прибыток с такой горы? Шутить, пан, изволишь?

— Ну, возможно, какое-нибудь пастбище — робко вставил пан Цедзына.

— Какое пастбище! — возмутился Полихнович. — Камень на камне и немного можжевельника. Место, подходящее разве что для овсянок... это пан хотел сказать? Но на что панам сдалась эта гора?... Финтик!.. Вон, подлец!..

Пёсик снова прыгнул с кушетки, на которую было опять забрался.

— Короче говоря — продолжал инженер — я бы купил у пана камень с этой горы и право добывать глину. Согласен, пан?

— Камень? А, действительно... В общем, пан добродетель, с превеликим удовольствием.

— А что бы пан хотел бы получить за это?

Полихнович принялся крутить в пальцах папиросу, заложив ногу за ногу так, что острым концом туфли чуть не касался своего носа. Молчал. Только после того, как завершил процесс размещения папиросы в мундштуке и окутался клубами дыма, решительно выпалил:

— Уступлю пану за восемьсот рублей.

Бияковский начал пронзительно смеяться:

— Семьсот рублей!.. Вздор! И это за место, пригодное только для овсянок... Ха!.. Ха!.. Знаешь что, пан...

— Не семьсот, а восемьсот рублей! Говори, пан, что даёшь. Не люблю, когда мне в нос смеются! Финтик! Выкину тебя за дверь, негодник, доиграешься у меня...

Пёсик снова слез с кушетки. Бияковский посерьёзнел и надулся.

— Думаешь, пан, что имеешь дело с фраером — сказал молодой обыватель и прищурил левый глаз. — Я, пан, *дублянчик*⁹ и знаю, чего стоит эта глинка впережку с неким количеством песка, пусть даже и не жирная... Найди, пан, в здешних местах ещё такую глинку и такой камень.

— Кто знает... Может, и найду — сказал инженер, вставая и направляясь к выходу.

— Ну, что пан даёшь? Хочу услышать.

— В любом случае не более ста рублей.

Пан Полихнович глубоко задумался.

— Давай, пан, двести рублей... и чёрт с ним!..

— Нет, пане — холодно сказал Бияковский.

— Ну, что поделать... Дашь, пан, сто пятьдесят?

Инженер иронично усмехнулся в усы.

— Подпишем контракт... ладно, чего уж там!.. Может, чаю?

— Поди ж ты, чаю! — неожиданно раздался голос из соседней комнаты. — Он уже тут чаем угощает, а я не знаю, откуда этот чай взять! Глядите!

— Молчать, мартышка! — сказал Полихнович не оборачивая головы. — Может, панам кислого молока с картошкой?..

— Нет, благодарим. Плачу сто рубликов, пишем договор на два лица, есть свидетель, пан Цедзына...

— Пан Цедзына! — воскликнул молодой человек, окидывая гостя пламенным взглядом — пан Цедзына из Козикова?

— Да, когда-то...

— Ещё одним больше!.. Уже пана слили! Ха! Ха!.. Вот это настоящий разгром землячества! Железные дороги теперь, пан добродетель, строишь?..

— Тружусь — скромно ответил пан Доминик.

— Фы! Ну, что ж поделаешь!.. Давайте писать контракт. Во всяком случае, завтра будет что всунуть в зубы панам старозаконным.

Составили контракт, и поздно ночью предприниматели покинули фольварк.

По прошествии пары недель у подножия горы функционировала машина по производству кирпича, а на скалах роились людские фигурки. Инженер заявлялся на вершину горы и окидывал любопытным и задумчивым взглядом раскинувшуюся у её подножия территорию.

Был конец августа, время сельской страды. На полях Полихновича царил абсолютный покой. Бияковский не разбирался в сельском хозяйстве, с трудом отличал в колосе пшеницу от ячменя, однако же его очень озадачило отношение владельца Заплотья к пару. Эти длинные, серые полосы земли, некогда ровно размеченные, теперь представляли собой зрелище груст-

⁹ Дублянчик — (здесь) выпускник Сельскохозяйственной Академии в Дублянах (Дубляны — небольшой городок под Львовом), основанной в 1856 году.

ное, как кладбище. Кое-где однообразный цвет пара прерывало небольшое поле жнивья или картофеля, за ними опять появлялся пар и пропадал аж вдаль, соединяясь с неиспользуемой землёй и пастбищем.

Молодой помещик каждый день приходил на гору, садился на камне, смолил папиросу за папиросой и беседовал.

— Панский фольварк — как-то сказал ему Бияковский — если посмотреть с этой горы, похож на труп.

— Ладно, ладно... На труп!.. Я получил после отца этот фольварк в плачевном состоянии, так что вынужден был внедрить грамотную плодосмену...

— Плодосмену? Где же тут и какие плоды, пан, сменяешь? Тут вообще никаких плодов нет.

— Как это нет?

— Я, конечно, в этом не разбираюсь, только не вижу тут ни ржи...

— А бобик¹⁰?

— Что за бобик?

— Ну вот, а ещё, пан, берёшься критиковать! Видишь, пан, ту зелёную полосу?

— Какой прок пану с какой-то там зелёной полосы или с самого бобика? Я ржи не вижу.

— А та стерня после чего?... После капусты с бараниной?

— Но ведь мужик-то в два раза больше ржи высевает.

— И тем самым губит почву, сеет рожь по ржи. Мужiku только позволь, так он Театральную площадь картошкой засадит, но из этого вовсе не следует, чтобы мы, следуя его примеру, уничтожали нашу почву. Тут, однако, хорошо бы иметь немного капитала...

Точно уже не помню, как так случилось, достаточно сказать, что пришла такая минута. Когда первые паровозы начали свистеть по новой железной дороге, Юлиуш Полихнович выезжал из Заплотья, увозя в саквояже несколько сотен рублей. Фольварк с парами, пустыми сараями и длинным перечнем долгов стал собственностью инженера Бияковского. Новый помещик какое-то время с наслаждением смотрел на наклонные поля, на уходящий в землю старошляхетский дом и высокие тополя с высыхающими верхушками. Собственное владение! Старый дом — мечтал — будет выделен для управляющего; на горе, лицом к дорожному полотну, возведу скромный, но стильный дворечкишко. Однако, наш инженер слишком долго был человеком практичным, чтобы идеалистические мечты о маленьком дворце отодвинули мысли о парах на второй план.

Как поступить с этими парами? Неужто, вправду, осесть в таком Заплотье и начать вкладывать собранные деньги в борозды, сарай, овчарни? Ездить каждое воскресенье с семьёй в сельский костёл, выслуживаться перед Паном Богом, чтобы рожь градом не побил и от поджигателя уберёг.

Приехать на лето в сельскую резиденцию, созерцать вдвоём с женой солнечные закаты, гоняться (вместе с тою же супругой) по ароматным лугам за разными бабочками, читать под тенью вековых лип Джованни Бокаччо, даже ловить на удочку пескарей в ручье — сладкие удовольствия, ничего не скажешь; однако, сидеть тут зимой и поглядывать на проезжающие поезда — по крайней мере, неразумно.

Совсем другие чувства теребили душу пана Доминика Цедзыны. Приобретение инженером фольварка дало ему надежду на получение должности управляющего, возвращение в деревню, к земле, распоряжение всем, как душе будет угодно, на проживание под кровом старой усадьбы. А потому его выслуживание перед Бияковским, послушание и крайняя старательность переходили всякие границы.

¹⁰ Бобик — (бот.) вика, посевной горошек — кормовое бобовое растение, по питательной ценности приближается к красному клеверу.

«Этот пан инженер прекрасно знает — думал старый шляхтич — чего стоит пан Цедзына. Знает, что это не какой-нибудь нувориш, гонящийся за прибылью; знает, что такой Цедзына с голоду сдохнет, а не тронет принадлежащего владельцу; жилы себе вытянет для того, кому служит, потому что является человеком, обладающим неведомым для нынешних людей признаком, маленьким смешным старошляхетским признаком — честью».

Надеждам пана Доминика не суждено было осуществиться.

Заявились «индивидуалисты» и предложили инженеру раздробить фольварк. После долгих размышлений, после выплаты всех долгов, Бияковский распродал все пары, оставив себе только хозяйственные постройки, скалистую гору и маленький кусочек пашни, прилегающий к саду.

Лик всей этой территории изменился до неузнаваемости. Вскоре отовсюду на поля фольварка съехались лохматые единоличники вместе с жёнами, детьми, тягловой силой и нажитым скарбом. Тощие клячи колонистов тянули из леса брёвна и гонт¹¹, колёса телег протыкали новые дороги по диким межам, выкапывались колодцы, городились заборы и как грибы вырастали новые дома. Днями напролёт не умолкал стук топоров. Кислые пастбища, поросшие убогой кудрявой травкой, которые, с исторической точки зрения, служили от времён *Пяста Колодзеля*¹² до дублянчика Полихновича только местом игрищ и прогулок быстроногим зайцам, пустыри возле леса и отмирающие пары набрали теперь такую значительную ценность, что стали неотъемлемой частью в жизни большого числа людей. Многочисленные взоры с волнением всматривались в эти кусочки земли, и сердца основывали на них свою надежду.

Когда наступила весна, на целину вышли плуги и отвалили проросшие муравой пласты...

Когда наступила весна, у подножия горы, носящей в здешних краях имя «Свинского вреда», вздыбились огромные клубы дыма. Припёртый к склону горы огромный цилиндр шахтовой известковой печи выбрасывал во влажный туман снопы искр. Длинные, висящие над пропастью мостки соединяли прокопчённый верх печи с подножием белых скал. В нескольких сотнях метров дальше, ближе к усадьбе, возносилась стройная красная труба кирпичного завода.

¹¹ Гонт — деревянные доски из дуба, кедра, лиственницы, используемые в качестве кровельного материала.

¹² Пяст Колодзей (Пяст Колесник) — согласно легенде, предок первой польской королевской династии Пястов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.